

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова
Филологический факультет
Кафедра мировой литературы

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК: ДИАЛОГ КУЛЬТУР



*Сборник научных статей
по материалам
Международной научной конференции,
посвящённой памяти профессора С. П. ИЛЬЁВА*

Одесса
“Астропринт”
2003

Тяжелая болезнь не сломила Степана Петровича. Зная о приближающейся кончине, он торопился: писал статьи, выступал на заседании Пушкинской комиссии, которую возглавлял, готовил к защите кандидатских диссертаций своих учеников. Двери его квартиры были открыты для всех — коллег, студентов.

Мы любили его.

Из частного письма Степана Петровича (Гданьск, 2 декабря 1974 г.): "... Пожалуйста, передайте М. А.-чу и всем членам кафедры, что я так же, как и они по мне, очень скучаю по ним, мне не хватает привычных лиц (коллектив нашей кафедры, его человеческий состав чрезвычайно симпатичен, я это всегда понимал, и здесь почувствовал и убедился в моей правоте в оценке всех без исключения товарищей, с которыми я работал почти 5 лет), которых я искренне уважаю и которые сделали мне много хорошего и никогда ничего дурного. Человеческая порядочность там ценится высоко, и этот культ делает всем честь, п. ч. хорошо известно, что не все коллективы могут похвастаться дружбой и товариществом. Шлю привет М. А.-чу и всем членам кафедры, самый сердечный..."

Осмысляя сейчас творческий путь Степана Петровича Ильёва, мы понимаем, что во многом он опережал свое время.

Его наследие принадлежит потомкам.

*Филологический факультет ОНУ
Кафедра мировой литературы*

М. Г. Соколянский

"БЫЛА ПОРА: НАШ ПРАЗДНИК МОЛОДОЙ..."

"Каждый лицейский выпуск имеет своё 19 октября; у нас есть 19 августа", — с этой ритуальной фразы начинались обычно ежегодные посиделки нашего небольшого и дружного круга выпускников филологического факультета Одесского университета "образца" 1960 года. Собирались как раз 19 августа, в день рождения одного из нас — Степана Ильёва — в холостяцкой (долгое время) квартирке новорождённого. Наперебой вспоминали эпизоды прошлого, весело шутили, смеялись, радовались общению.

У этой традиции была своя предыстория. 19 августа 1955 года группа абитуриентов филфака (ещё без автора этих строк, который влился в их

ряды через год, переехав в Одессу из России) смогла убедиться, прочитав вывешенные списки зачисленных в университет, что их "поступательное движение" увенчалось успехом. Один из них (угадайте, кто?) признался, что как раз сегодня у него день рождения, и все отправились отмечать двойной праздник. Потом был пятилетний перерыв "на учёбу", а спустя несколько лет после окончания факультета мы вспомнили о чуть было не утраченной традиции, возродили её и долгие годы свято соблюдали. День рождения Степана Петровича стал для нас и *лицейским днём*.

Вспоминая о С. П. Ильёве как университетском однокашнике, я не сказал бы, что он был явным лидером на курсе, но что, может быть, более важно — он являлся всеобщим любимцем. Несмотря на некоторую юношескую задиристость, свойственную ему и в зрелые годы, был человеком совершенно не конфликтным, внимательным к товарищам и подчёркнуто деликатным в общении с самыми разными, даже незнакомыми людьми. Если и случались у него размолвки с кем-либо из сверстников, то сердился он на других как-то беззлобно, да и товарищи не могли на него долго обижаться. Подкупала в Степане Ильёве какая-то глубинная доброта, которую окружающие распознавали интуитивно и, как правило, высоко ценили.

Если говорить о его главных и непреходящих пристрастиях, то на первое место поставил бы я любовь к книге. Кто её привил ему? Ведь вырос он в очень простой семье, о чём не уставал напоминать собеседникам в разнообразных ситуациях. Однажды, когда серьёзный исследователь-лингвист, читавший нам курс общего языкознания, порекомендовал студентам внимательнее вчитаться в учебник профессора А. А. Реформатского, С. Ильёв вслух заметил: "Профессор не знал, что мы выросли на Пересыпи, и писал слишком уж сложно". (Спустя годы, мы с ним вместе весело смеялись над этим случаем). И всё же, думаю, что простые труженики — отец и мать — привили сыну уважение к работе и к людям, а заодно и к книге как продукту *человеческого труда*. Кажется, повезло Степану Петровичу и с первой учительницей литературы, укрепившей его любовь к чтению.

Свою библиотеку собирал он, что называется, с нуля, но делал это вдумчиво и любовно. В отличие от ушлых библиофилов-коллекционеров, не интересовался только прижизненными изданиями или пронумерованными экземплярами; ему важны были собственно текст и культура издания. С книгой обращался сверхбережно, и в этом мы с ним полностью совпадали. Когда кто-то из приятелей просил у него ту или иную книгу почитать, Степан отвечал кратко, но выразительно: "Почитай своих родителей, а книги мне нужны для работы". Кто-то обижался на такой ответ, а

я прекрасно понимал своего товарища (сам такой!). Правда, друг для друга мы делали исключение: С. П. доверял мне любой раритет, да и я посылал ему по почте в другие города и даже страны из своей личной библиотеки самые "малотиражные" книги, действительно необходимые ему в ту пору для работы. Не раз приходилось отказывая кому-то из желающих взять "почитать" какую-то книгу, слышать обиженное: "Степану же ты их даёшь?" Отвечал коротко: "Степану можно".

Ещё в одном пункте совпадали мы с ним — в отношении к почтовой переписке и эпистолярному жанру. Корреспондентом Степан Петрович был пунктуальным и совершенно не стандартным. Началась наша переписка, когда по окончании университета уехал он на несколько лет работать в сельские школы, а позднее вспыхивала, когда кто-то из нас уезжал из Одессы на продолжительный срок. Письма его были выразительны, интересны, передавали своеобразие личности автора.

Любовь Степана Петровича к литературе определила и выбор профессии. Выбор этот был попаданием в десятку. Не могу себе представить его не то, чтоб математиком или физиком (с точными науками С. П. не очень ладил сызмальства), но инженером, естествоиспытателем, врачом. В студенческие годы даже к лингвистическому блоку дисциплин относился он с осторожностью и прохладцей, зато классическую литературу читал запоем, проводя всё свободное от "службы" время в читальном зале научной библиотеки. Той самой библиотеки, где довелось ему в середине 1960-х годов несколько лет прослужить и которой завещал он большую часть собранного им книжного собрания, составившего там именной "фонд Ильёва".

К профессиональным занятиям историей литературы пришёл он с некоторым запозданием — в конце 1960-х годов по воле обстоятельств немного "засиделся на старте". Позднее мы с ним многожды с огорчением наблюдали, как научная работа в вузах и НИИ ставится "на поток": аспиранту сначала назначается крайний срок защиты диссертации, а потом определяется её тема. (Боюсь, что эта традиция кое-где и поныне живёт и побеждает). Степану Петровичу это было не по душе, у него выработались своя мера и свои подходы к научной работе. Будучи от природы **историком** литературы, он со временем понял, как важны знания по ряду вспомогательных научных дисциплин. И верно: в наше время учебные программы не включали ни курсов источниковедения и научной библиографии, ни архивной практики, ни... ни... ни... Самим приходилось доучиваться. На рубеже 1960-70-х годов С. П. Ильёв начал самостоятельно овладевать многими навыками литературоведческого поиска, которые затем ему оченьгодились.

Чрезвычайно важным этапом в профессиональном становлении Степана Петровича была его трехлетняя работа в Польше — в Гданьском университете. Дело не только в приобретении нового опыта, новых друзей, новых трибун. Важнее, на мой взгляд, было расширение собственного понимания задач истории литературы. Польша и в ту пору была больше развёрнута на Запад, чем любая другая страна т. н. “социалистического лагеря”. В Польше многие имели вкус к теоретическим построениям, а к тому же раньше и полнее знакомились с некоторыми концептуальными трудами западных теоретиков. Правда, некоторые из польских литературоведов в чём-то были *большими роялистами, чем сам король*. Впрочем, чрезмерное увлечение модными тенденциями имело место в разных местах мира и в конечном счёте приносило нередко пользу, приобщая к теории тех, кто раньше её сторонился. Вот и С. Ильёв, прежде равнодушный к теории литературы, в Польше осознал, что не может быть полноценного историко-литературного исследования без внимания к теоретическим проблемам. Это понимание оказалось очень важным для его дальнейшей работы и в студенческой аудитории, и за письменным столом.

О нём можно сказать, что работа была для него *всем*. Вряд ли можно говорить о его каком-либо *хобби*. То есть не принадлежал он ни к числу страстных театралов или меломанов, болельщиков футбола или хоккея, любителей охоты или рыбной ловли, заядлых шахматистов или преферансистов... Главным и, может быть, единственным увлечением оставалась работа, она-то и была, наверно, его истинным хобби.

В отличие от математики или музыки, литературоведение, как известно, не является уделом молодёжи *par excellence*. Наше знание — живое, пополняющееся с годами. В 1970 году я показывал своему другу юбилейную заметку профессора А. В. Чичерина, написанную к 60-летию видного литературоведа Т. Л. Мотылёвой. “Тамара Лазаревна, — писал там семидесятилетний Алексей Владимирович, — вступает в самое продуктивное для литературоведа десятилетие своей жизни”. Мы со Степаном Петровичем хмыкали тогда по этому поводу. Творческая жизнь Т. Л. Мотылёвой, как и многих других трудолюбивых и одарённых литературоведов, показала, что в главном был А. В. Чичерин совершенно прав. Случались, конечно, и исключения, но общего правила они не отменяли.

Срок жизни, отмеренный С. Ильёву безжалостной судьбой, не позволил ему на собственном опыте убедиться в справедливости этого правила, но его профессиональная эволюция шла в согласии с ним. Десяток самых крепких своих работ написал и опубликовал С. П. на последнем витке жизни — в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Это, прежде всего, ряд статей об А. Блоке и Андрее Белом, и, конечно же, самый крупный, на

мой взгляд, его труд — обширный комментарий к роману В. Брюсова “Огненный ангел”, подготовленный для серии “Библиотека студента-словесника”, издаваемой “Высшей школой”.

Признаюсь, что в молодые годы никак не мог я осилить этот исторический роман, но когда в 1980-х годах Степан Петрович попросил меня быть рецензентом его методического пособия об “Огненном ангеле”, сделал над собой усилие и не без труда прочёл до конца. Да простится мне субъективизм оценок, но до сих пор полагаю, что единственным достоинством этой холодной и вялой прозы является лишь то, что она подвинула С. С. Прокофьева на создание оперы по мотивам брюсовского романа — едва ли не единственной русской книги, приобретённой композитором у ньюйоркских букинистов в 1919 году. Друг же мой “пристально” (*closely*) прочёл этот текст не раз и не два, да с завидной научной добросовестностью прокомментировал его. Всякий литературовед, кому довелось составлять примечания к художественным произведениям, знает, сколь важен и нелёгок этот труд. Уверен, что комментарий С. П. Ильёва суждена долгая жизнь в филологической науке и издательской практике.

Болезнь подкралась к Степану Петровичу незаметно. Он вообще-то был из мужественных людей, не привыкших жаловаться на нездоровье. Когда в конце 1991 года мы с ним вместе были в Познани на конференции “Европейская русистика и современность”, он как-то мимоходом пожаловался на непонятное недомогание, но тут же спохватился и посмеялся над минутной слабостью. Через год ему пришлось уже согласиться на госпитализацию. Посещая его в далёкой от центра Одессы, большой и неудобной больнице, я замечал, что выглядит он неважно, но лечение шло “по плану”. *План* был составлен шефом клиники — заведующим одной из хирургических кафедр мединститута, молодым профессором, который, как мне тогда сообщили его коллеги, сравнительно недавно был чуть ли не самым молодым членом парткома своего вуза и тем лишь был слаб. Он уверенно поставил Степану Петровичу диагноз — “язва желудка”, от которой больного и лечили. Когда через полгода в Венгрии у С. П. обнаружили совсем другое, худшее заболевание, лечить его было уже поздно...

Покидая Одессу в марте 1993 году, я попросил своего друга принять председательские функции в Пушкинской комиссии Дома Учёных. Он согласился, и мне было спокойно: начатое задолго до нас хорошее дело передавал я в хорошие руки. Но вскоре почувствовал себя он уже очень неважно и писал мне об этом совершенно откровенно. Не имея объективной информации от общих друзей, я слал Степану и из Германии, и из Америки ободряющие (?) письма, не всем из которых, как выяснилось

позднее, суждено было попасть к адресату: то ли почтальоны страдали шпекинским любопытством, то ли юные вандалы терзали почтовые ящики. В начале мая 1994 года, вернувшись после очередного цикла лекций из США в Германию, позвонил я в Одессу и узнал, что моего друга уже несколько дней как не было в живых.

Говорили мне, будто на похоронах Степана Петровича один из наших сокурсников сказал, что, прощаясь с товарищем, расстаёмся мы и со своим лицейским праздником — днём 19 августа. “Была пора...”, — и для нас глагол в этом контексте остался навсегда в прошедшем времени. Ушёл праздник вместе с близким и хорошим человеком, оставившим у всех, с кем общался он и по работе, и по душе, самые тёплые воспоминания.

Д. П. Урсу

ИСТОРИЯ И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ (из воспоминаний о профессоре С. П. Ильёве)

Мы подружились со второго знакомства, когда в начале 1967 года я поступил в аспирантуру и стал просиживать целыми днями в библиотеке университета, где он работал библиографом. О нашем давнем, первом знакомстве С. П. любил вспоминать с удивлением и некоторым восхищением. Произошло оно летом 1956 года. Тогда на казахстанской целине созрел в первый — и наверное в последний — раз большой урожай, на уборку которого мобилизовали студенческие отряды. На нарах в “скотском” вагоне разместились добровольцы, историки и филологи; у последних, конечно, образовалось целое девичье царство. Разделили вагон одеялами, поехали с песнями на восток. В дороге приглядывались друг к другу, знакомились.

Уже мы проехали Урал, уже мы в Азии. И вот, рассказывал потом С. П., на каком-то полустанке, в степи, под палящим солнцем, сидит парнишка в окружении зевак, и ему тупой бритвой бреют голову. В руках держит тюбетейку, только что купленную, и видно, что ему не терпится скорее водрузить ее на лысую башку. Самое интересное, что на эту экзекуцию к сибирскому цирюльнику уже выстроилась очередь. Степан подошел к нам и тихо спросил: “Кто сей молодой идиот?”. Я услышал и оглянулся — симпатичный юноша, отдаленно напоминающий молодого Хемингуэя. Ему сказали, кто я; затем он спросил: “Дима, не больно?”, на